

НАБЕРЕЖНАЯ

ОСЕНЬ, 1991 ГОД

Этери Басария

Дождь моросил. Дрова в очаге горели.
Два украинца, русский и молдаванин
крепкую чачу требовали к форели.
Ждали. Друг друга виршами мордовали.

А хорошо ли было им? Вот как было:
рыхлый туман лоскутно сползал по склонам
и застилал посёлок. Вдали кобыла
млечно клубилась, белая на зелёном.

Официант-абхаз раздавал стаканы -
вместо бокалов - и пояснял пространно:
«С гор в эти дни лавиной сходят сваны,
всё разбивают. Вот почему - стаканы».

Аполитично пили. Но самый старший
сходку спешил возвысить цветистым тостом.
Было уже нескучно, ещё нестрашно.
Было ещё нестыдно, уже не просто.

На облетевших ветках хурма мерцала.
Пальмы шуршали плоскими веерами.
Их отражал, как выпуклое зеркало,
автомобиль с московскими номерами.

Всё проходило благостно. Под сурдинку.
Два украинца пели, а русский - кушал.
А молдаванин оком ловил блондинку
и ничего не слышал, верней, не слушал.

Мясо коптилось. Жир прикипал к поленьям.
Местный дурак ватрушку жевал довольно
и бормотал бессмысленно: «Война, война»,
суть исказив неправильным удареньем.

Тучный хозяин, нянча свою подагру,
щёлкал на счётах (общей была валюта).
...Сваны сходили с гор, накрывая Гагру.
И в потолок стреляла бутылка брюта.

ЗИМА НА ЮГЕ

Тарантас, колокольчики... Спятил ты, что ли?
Лучше выйди в ближайший ларёк:
всякий раз не хватает то хлеба, то соли.
Попритихли застрельщики прежних застолий.
И смеркается около трёх.

Посмотри: даже ключ на цепочке заржавел
и не вытоптан снег у дверей.
Из печи подгоревшими тянет коржами.
Редко-редко дохнёт молодой, как Державин,
освежающий душу борей.

Справа - бухта мигает не бригом, так берегом
с парапетом в ледовой коре.
Слева - трасса, жужжащая автопробегом.
Но мучительны вид кипарисов под снегом
и цветение роз в декабре.

Дым над шиферной крышей свивается в «неуд»,
по-хозяйски когтя кирпичи.
В эту жизнь ты ещё не забрасывал невод.
И помарки грачей удручённо чернеют
на корявых ветвях алычи.

Дни мелькают, как в зеркальце заднего вида,
налетая волной на причал.
Календарным крестом вышивает обида.
«Как спалось, Филемон?» - «Я не помню, Бавкида:
до рассвета читал англичан».

И дожить бы до лета, дожить бы до лета
И, забравшись в пустой тарантас,
дребезжать по дороге, что солнцем нагрета,
вдоль кизила, шиповника и бересклета,
за одежду цепенящих нас.

* * *

Приняв заказ, не пряча спеси, согнувшись в зыбкой конуре,
нам мастер выточит два перстня, два сердолика в серебре,

где нить под влагой плавных граней всклубил
декабрьский шелкопряд,
как будто в изморози ранней две винных ягоды
горят.

Асимметричные эклоги. Надежды, скрученные в жгут.
Любви неверные залого, что всё же нас переживут.

Слепого случая вещдоки. Скандал. Семейный
бомпромат.
Семей двусмысленные вздохи без комментариев
и дат.

Плодом украшенное древо. Барокко вычурная прядь.
На безымянном пальце левой, не смея правую
попрать.

..Всё это мастер знал, покуда в морозных сотах
декабря
металлом булькала посуда, дышал раствор нашатыря,

возвз меж стёклами волною смерзлся снега синий
шест..
Будожник мучился виною и сомневался, что продаст.

И отмахнувшись от дуллета, на каждом новеньком
кольце
он высекал: «Пройдёт и это», но с вопросительным
в конце.

КУРОРТНАЯ ЗОНА

бомж на прогретом камне читает сартра
там кто читает сартра сегодня - бомж
крик вопит как чокнутая кассандра
и на нос бинокль направляет бош

бомж с высоты планёра грозит ираку
кыш саадама прячутся в кобуру
пред с бокалом пива не рад и раку
он половину кипра продул в буру

неско турист проворный как марадона
шлеплет лодыжку свеженькой травести
в пластиковом бикини летит мадонна
в шторм но никто не жаждет её спасти

езд головой вытягиваясь редя
в кровоподтёках и дождевой пыли
близко то блажит бородой фиделя
во предьявляет розовый ус дали

считает profanum vulgus в раскатах грома
брошив пронумерованные места
бомж на своем насесте читает фромма
крутые капли смахивая с листа

он уместился так чтоб волна бодала
как подобает хищнице - со спины
организуя пряди его бандана
выгорела до цвета морской волны

все закипело сдвинулось помутилось
эросом гекатомбы слилось в одно
бомж прошивает время как наutilus
зная что лучший выход уйти на дно

не выпуская книги из рук он даже
рад что круша причалы рыча waqum
шквальный поток смывает его с пейзажа
с грохотом перекатывая валун

* * *

Это из другого словаря,
из чужого вовсе алфавита,
где ржавеют в бухте якоря
и к стене глициния привита.

Я тебя еще переведу
на язык, не скрученный цензурой,
где лоза гексаметра в саду
тяжелее гроздью, как цезурой.

Где хоря прыткий частокол
по горбам взбирается в поселок
и шмеля стремительный глагол
ударяет в бронзовый подсолнух.

Золотые блики, как плотву,
шторм дробит, грозя и настагая.
Но анапест, пролитый в листву,
извлекает трели нахтигалья.

Подмигнув отточием в строфе,
темноту подсвечивая с тыла,
словно пес, вцепившийся в трофей,
уползает за гору светило.

Все равно в затмении густом
наши несмугляющие лики
будут перечеркнуты кустом
выжженной до срока ежевики.

АГАТ

Ты, продавец камней, - конкистадор, пират,
прибрежный фраер, вождь со шрамом на щеке.
Горит «кошачий глаз», но я возьму агат:
он - бескорыстный брат рожденных в нищете.

Ты - переводчик дат на каменный язык.
Наклеен зодиак на матовость листа.
Отдерну руку - там сочтется сердолик,
как треснувшая плоть запекшегося рта.

Угроза егерей, спускающий собак
контрабандист (ложась, снимаешь кобуру),
ты думаешь, - топаз? Нет, леопарда зрак
убитого. Агат мне больше по нутру.

Когда глядишь в упор, волк, карадагский вор
(так клацает затвор при появлении птиц),
своих парчовых яшм причудливый узор
сбывая по цене смарагдовых крупниц, -

Я думаю, что страсть в расширенном зрачке
способна изменить структуру древних скал,
чтоб выдавить из недр не узнанный никем
глубинной чернотой мерцающий кристалл.

Я чувствую, как жар, оправленный в товар,
сжигает до кости и возвращает вспять.
Осведомитель сфер и протиратель нар,
ты вождедешь - сбуть, я вождедею - взять.

Весь в брызгах лазурит. Нет, все-таки агат,
лиловый, как мускат, созревший к сентябрю;
с туманностью внутри, как облачко в закат.
И ты отводишь взгляд. И говоришь: «Дарю».

* * *

Но это облако - кисейный лоскуток,
еще не слизанный горячим языком
заката, - движется на северо-восток,
взбухает сливками, вскипает молоком.

Роняет пену, уплотняется и вот -
барашком жертвенным на вертеле луча.
В поселке празднично хозяйствует морфлот.
Бутылкам тесно на капоте «Москвича».

Бросает блики их стеклянный вокализ
на всех, сидящих по периметру стола
в беседке летней, над которой заплелись
в закатном золоте мускат и мушмула.

Но это облако - дрейфующий клочок -
определяет глубину воздушных ям
и в море пялится, как меркнувший зрачок
с лилово-розовой обводкой по краям.

И жив сосед еще. Он сладкое вино
вкушает, благостный. И сын его пока
в горячке бешеной не посадил окно.
Сидят, как в облаке. Верней, как облака,

в сорочках праздничных, крахмальных; на пробор
с утра причесаны. Но дворик угловой
и свежеевыкрашенный - в прозелень - забор
ныряют в сумерки, сливаются с листвою.

И мичман пьяненький выходит на порог,
цилиндр фонарика беря в поводыри.
И жизнь обещана, как праздничный пирог
с пятикопеечной монетою внутри.

ЕДОК

Нет вакхических песен - разбежалась разгульная
рать.
Стол становится тесен: столько яств одному не
прибрать.

Вот - кораллы креветок, пламенеющий бисер икры.
И жасминовых веток снег - на черную кровь
хванчкары.

Иноземных ликеров мозаичная готика. Но
ни веселья, ни споров за столом не рождает вино.

Вот, салфетку льняную закрепив, он вершит
торжество.
Одесную, ошуюю и напротив - давно никого.

Родословного древа развалился безлиственный
ствол.
Лишь плавучее чрево едока упирается в стол.

Он вкушает, глотая, разбирая, мусоля, жуя.
И дрожит золотая охлажденного пива струя.

В содроганьях соитий он взирает на сладкий
поп-арт.
Так на карту событий вождеденно глядел Бонапарт:

все в развалинах... Сглодан Рим, в муку пережеван
Париж,
и ореховый Лондон каплет млеком с протаявших
крыш.

НАБЕРЕЖНАЯ

То вприпрыжку, а то стеная, шла за нами из бара в бар
эта песенка пристыжная, приставучая, как загар.
Пахло килькой, шурпой, духами, ленью, мыслями
ни о ком,
осетровыми шашлыками, разбодяженным коньяком.
И, пиная пивные банки, посередке людской реки
то ли рокеры, то ли панки плыли юркие, как мальки.
У холста в золочёной раме, где корвет погибал
в грозу,
про «Варяга» турист в панаме пел, катая в глазу слезу.
Кольца, фенечки, амулеты, караоке и кабаки.
Местной флоры апологеты, местной фауны вожаки.
Почитатели Кастанеды. В черной шапочке иудей...
Сухо щёлкали кастаньеты трудоголиков-лошадей.
И слеталась к дешёвым цацкам речь, подсвеченная
вином,
на хохлячком и на кацапском, на ментовском и
на блатном.
Придвигая друг к другу спины, в маслянистых
разводах тьмы,
словно всплывшие субмарины, чуть подрагивали
холмы.
Но в одну неживую точку ты глядел поверх мутных
гор,
как посаженный в одиночку смертник, знающий
приговор.
что направив к такой-то маме и священника, и врача,
в пустоте шевелит губами, песню глупую бормоча.

* * *

Прокричит твой козёл, точней - петух,
и вспорхнёт с насеста, как влетал.
На восточном склоне костёр потух,
а на юго-западном замигал.

Но ещё прибрежные камыши
не зажглись и жёлтым не вспыхнул дрок.
Сладковатым запахом анаши
веет с моря бризовый ветерок.

Ты давно хотел соскочить с иглы,
Но, светясь во мгле, как ночной трофей,
золотая краля из Магалды,
разметавшись, спит на софе твоей.

Потому и маешься, замерев,
чтоб не скрипнуть дверью, не сбить ведра
в тесноте прихожей, пока дерев
розовеет влажная кожа.

И бормочешь: «Если на небеси
Ты еси, чьей милостью потеплел
предрассветный воздух, то пронеси
лихорадку мимо, но не теперь.

Ибо эту ломку и эту дрожь
я добыл ценой своего ребра.
— Все равно Ты, Господи, отберёшь.
Но пускай поспит до семи утра».

* * *

Сонно обзирающий дали,
точку серую, нос корабля -
лишний профиль твой не для медали,
но уместен в тени миндаля.

Или в пыльном оконце хибары,
златоком обречённой на слом,
сто над книгой твои окуляры
любопытским блещут стеклом.

Скучно в крымской провинции. Даже
возле моря. И воздух прокис.

Спит обжитые чайками пляжи
и помётком забрызганный мыс.

В ресторации местной - изранен
покраями - торчишь неглиже.

И помпезное, как Северянин,
на подносах дрожит бланманже.

К чёрту - деву на сёрфинге, света
луч упавший в прибрежный камыш,

и приросшего к пирсу атлета
с пузырями обветренных мышц.

Знаешь южного быта затарен,
пресирая финансы твои,

какое столика носит татарин
золотое, как небо, аи.

Очищенности честная корка,
пока тёплая, репчатый лук...

Может быть, приоткроется створка -
и мужчину выкатит вдруг

жизнь, плывущая облаком, еле
освоенным? Но луч вдалеке

пока держит тебя на прицеле
красной точкой на левом зрачке.

* * *

Две капли на дне баклажки и джазовый всхлип трубы
не более, чем поблажки ленивой мадам Судьбы.

Рыча, рассыпая бисер, дымящийся на весу,
на водах рисует глассер лиловую полосу.

Вздремни, запустив под веки, травы полинявший
жад,
холодные чебуреки, вскипающий оранжад.

...Чем травимся, тем и лечим. Пора осквернить уста.
Но мне поделиться нечем: баклажка моя пуста.

Уже пятаки посланий измерили глубину
вдоль мыса, где пёс Павсаний, бросаясь, кусал волну;

где зноем валун прожарен в лишайной голубизне,
как скрюченный каторжанин с наколками на спине;

и смуглая пара в белом заснула - к виску висок,
мобильник, как парабеллум, на время зарыв в песок.

* * *

Море. Облако. Белый парус.
Плоскодонки - Пейзаж Марке.
По дороге пылит «Икарус»,
исчезающий на витке.

Меж холмов голубеют жилы
Варикозно-разбухших рек.
И светило стреляет жиром,
словно жареный чебурек.

Бродит ослик по кличке Павел,
как тоскующий инфернал.
Разговор наш - игра без правил.
Мне не светит полуфинал.

Не копайся в татарском супе -
всё горячее можно есть.
Лучше жизнь принимать, как суфий:
мол, такая, какая есть.

Слушать резкий фальцет солиста,
Но, не вдумываясь в слова...
Мир промыт и горит слоисто,
как медовая пахлава.

Обводи меня. Жизнь такая,
как задумал творец игры,
в молоко облаков макая
зачерствевший ломоть горы.

